18+

ТРЕТЬЯ ПРОТОПКА

роман



В первый раз моешь тело.
Во второй — душу.
В третий — она помоет тебя.

АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ ЖАРКОВ

МОСКВА · 2026

18+

Александр Жарков

Третья протопка

«Автор»
2026

Жарков А. В.

Третья протопка / А. В. Жарков — «Автор», 2026

Вера — хирург из Москвы. Она возвращается в деревню Сосновку, чтобы похоронить мать, и застаёт странное завещание: дом и баню нельзя продавать, пока она не протопит баню трижды.Первая протопка — для тела. Вторая — для души. Третья — для того, кто не родился.В бане Вера находит тетрадь матери, детскую рубашку с двумя именами и куклу без лица. Она узнаёт, что родилась не одна: у неё была сестра-близнец, которую тридцать восемь лет назад выпарили в этой бане, чтобы Вера жила.Сестра не ушла. Она ждала.Теперь у Веры есть девять дней, чтобы закончить то, что начала её бабушка. И один выбор: убить сестру второй раз — или дать ей тело.В первый раз моешь тело. Во второй — душу. В третий — она помоет тебя.

© Жарков А. В., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Часть I 5
Глава 1 5
Глава 2 11
Глава 3 17
Глава 4 21
Конец ознакомительного фрагмента. 24

Александр Жарков
Третья протопка

«В первый раз моешь тело,
во второй — душу,
в третий — не мойся».
Из тетради Тамары Смирновой

Часть I
Вода

«Баня — не дом. В доме живут, в бане рожают и умирают».
Аглая Смирнова, 1975

Глава 1
Август

В Москве у меня был пациент с паховой грыжей. Пятьдесят два года, строитель, живот как арбуз, грыжа как второй арбуз. Я зашивала апоневроз, когда зазвонил телефон. Он лежал в шкафчике, за стеклом, и вибрировал так, что дребезжали ампулы. На экране было «Баба Шура». Я не взяла. Я зашивала.

Потом, в ординаторской, я перезвонила. Баба Шура сказала:

— Тамара умерла. Нашли утром. В бане. Приезжай.

— Когда? — спросила я.

— Вчера.

— Как?

Она помолчала. В трубке капала вода. У неё на кухне кран капает с восьмидесятых, и она не чинит, потому что «он свою работу знает».

— Приезжай, — сказала она и положила трубку.

Я стояла с телефоном в руке. За окном была Москва, август, пробка на Садовом. В коридоре катили тележку, колесо скрипело через каждые два метра. Я знала этот звук десять лет. Через четыре минуты скрип вернётся, потому что тележка ходит по кругу.

Я выдохнула. Вот что я сделала первым делом. Я выдохнула. Потом испугалась, что выдохнула, потом подумала: я не видела её четыре года, мы говорили по телефону раз в месяц, и каждый разговор был как перевязка — быстро, аккуратно, без боли. Теперь этих разговоров не будет. Я не знала, плакать мне или радоваться. Я сделала ни то ни другое. Я пошла писать заведующему.

Он отпустил меня без вопросов.

— Сколько тебе? — спросил он.

— Не знаю.

— Ну, хоть отдохнёшь.

Он хороший человек, просто у него в отделении триста больных и один я.

Я приехала через день.

Автобус останавливается у магазина. Двери открываются с шипением, и я выхожу в жару. Водитель, пожилой мужчина с седыми усами, смотрит на меня в зеркало.

— Смирнова? Тамарина дочь?

— Да.

— Похоронить приехала.

Это не вопрос. Я киваю.

Он выключает радио. До этого там пели про любовь, которая как лето. Теперь тишина, только двигатель.

— Сама-то где?

— В Москве.

— Хирург, говорят.

— Хирург.

Он смотрит на мои руки. Я знаю, что он ищет: красные следы от перчаток, короткие ногти, может быть, мозоли. Ничего не находит. У меня руки как у всех.

— Ну, — говорит он. — С приездом.

Двери закрываются. Автобус уезжает. Я остаюсь одна на обочине с сумкой в руке.

Август в Сосновке не похож на московский. В Москве август — это пыль, кондиционеры и запах асфальта. Здесь он густой, как сироп: листья, яблоки, нагретое дерево, река. И ещё что-то, чего я не помню из детства, — сладковатое, тяжёлое, как будто где-то парит земля. Я забыла, что здесь нет асфальта. Каблуки проваливаются в песок, и я иду, как хромая цапля.

Я стою и смотрю на деревню. Она не изменилась. Та же улица, те же дома в три окна, тот же магазин с вывеской «Продукты». На крыльце сидит кошка и смотрит на меня, как на чужую.

Я и есть чужая. Я не приезжала сюда двадцать лет.

По дороге мне встречается женщина с курицей под мышкой. Курица вырывается, женщина ловит её, курица бежит под забор. Женщина говорит курице: «Ты куда, дура», и смотрит на меня так, будто это я её выпустила.

— Здравствуйте, — говорю я.

Она не отвечает. Она смотрит на моё платье. Платье чёрное, но в Москве чёрное носят все. Здесь оно значит другое.

— Тамарина? — спрашивает она наконец.

— Да.

— А-а. — Она наконец ловит курицу. — Приехала.

И уходит, не сказав больше ничего.

В магазине пахнет мокрым картоном и дешёвым стиральным порошком. За прилавком женщина с фиолетовыми волосами читает журнал. Я беру воду.

— Смирнова, — говорит она, не поднимая головы. — Соболезную.

— Спасибо.

— Сорок восемь.

— Что?

— Вода сорок восемь. — Она наконец смотрит на меня. — Сорок восемь рублей.

Я плачу. Она даёт сдачу. Потом говорит:

— Ты в этом пойдёшь?

— В чём?

— В платье.

— А что с ним?

— Ничего. — Она отворачивается к журналу. — Красивое.

Дорога до дома занимает семь минут. Я иду медленно, потому что не хочу приходить. В сумке — чёрное платье, купленное вчера в Москве, и коробка конфет для бабы Шуры. Я не знаю, зачем купила конфеты. Баба Шура не любит сладкое. Просто руки что-то делали, пока голова думала о другом.

Дом стоит на краю, у оврага. Старый, но крепкий: брёвна в обхват, крыша железная, окна с резными наличниками. Мать гордилась наличниками. Говорила, что их вырезал прадед и что пока наличники стоят, дом стоит.

Калитка открыта.

На крыльце меня встречает баба Шура. Ей восемьдесят два, она сухая и маленькая, в сером платке. Руки у неё большие, узловатые, в трещинах. Я смотрю на эти руки и вспоминаю: они принимали меня. Не мать. Баба Шура.

— Приехала, — говорит она. Не спрашивает. — Хорошо.

— Здравствуйте, Александра Прокофьевна.

— Зови бабой Шурой, как раньше. — Она смотрит на мою сумку. — Платье чёрное?

— Чёрное.

— Хорошо. Мать в горнице. Я её обмыла. Не трогай до похорон.

— Я помогу.

— Не надо.

— Почему?

— Дочь моет мать один раз. Ты уже не успела.

Она говорит это спокойно, без злости. Как ставят диагноз. Я стою на крыльце и чувствую, что должна что-то ответить, но не знаю что. За двадцать лет я научилась отвечать родственникам: «Мы сделали всё возможное», «Соболезную», «Ей уже не больно». Никто не научил меня, что отвечать, когда мне говорят правду.

— Я привезла конфеты, — говорю я.

— Какие?

— «Коркунов».

— Это которые дорогие?

— Да.

— Дура, — говорит баба Шура беззлобно. — У неё траур.

Она идёт в дом. Я иду за ней.

В горнице темно, потому что шторы задёрнуты. Пахнет ладаном и яблоками. На подоконнике — яблоки, красные, с каплями воды. Кто-то вымыл их и положил в ряд, как на рынке.

Мать лежит на столе, накрытая белым. Я подхожу и откидываю край.

Я не видела её четыре года. Последний раз — в Москве, когда она приезжала на мою защиту. Она была тогда маленькая, худая, с красными руками. Теперь она ещё меньше. Лицо восковое, губы сжаты, глаза закрыты. На щеке — тень от окна.

Я смотрю на неё и не чувствую ничего. Потом чувствую. Потом снова не чувствую. В кино, когда умирает мать, героиня падает на колени и кричит. Я не упала. Я стояла и считала, сколько прошло минут. Меня накрыло только то, что я ничего не чувствую. И это было хуже.

Я беру её руку. Пальцы холодные, ногти чистые. Баба Шура постаралась. Но кожа сухая, как бумага. Не как у мёртвой — как у высушенной. Тело после остановки сердца ещё сутки остаётся влажным, тяжёлым. Это тело лёгкое. Как будто из него выпарили всю воду.

И пахнет. Не ладаном. Берёзовым дымом и чем-то сладким, как парное молоко.

Я отпускаю руку. По привычке смотрю на часы: прошло три минуты. Потом одёргиваю себя. У мёртвых не считают минуты.

Я опускаю покрывало. И замечаю.

Её живот. Под белой тканью он не округлый, как у живой женщины, а впалый, как у ребёнка. И на нём — шрам. Длинный, вертикальный, от грудины до лобка. Старый, побелевший. Шов неровный, стянутый, широкий. Так не зашивают в клинике.

Я знаю этот шрам. Я сама делаю такие. Только у меня получается ровнее.

Я не помню у матери никакого шрама.

Я вообще мало что про неё помню. Помню, как она приехала ко мне на защиту — в костюме, который ей был велик, и всё время поправляла рукав. Помню, как она сказала про мою квартиру: «Тесно». Помню, как она отказалась остаться на ночь, потому что «у тебя тут не повернуться». Помню, как я провожала её на вокзал и думала: вот сейчас она обернётся. Она не обернулась.

Зато я хорошо помню другое. Мне было девять. Я принесла домой котёнка. Она сказала: «У нас нет денег на кота». Я сказала: «Он будет ловить мышей». Она сказала: «У нас нет мышей». На следующий день котёнка не было. Она сказала, что он убежал. Я искала его три дня. Потом нашла за баней, в кустах. Он не убежал.

Мать часто говорила: «Ты у меня одна». Я думала, это любовь. Теперь, после шрама, думаю: может, это была не любовь. Может, это была опись.

Я не знаю, зачем я это помню сейчас. Наверное, потому что мёртвых принято прощать. А я не умею прощать. Я умею зашивать.

— Баба Шура, — говорю я. — У мамы была операция?

Баба Шура стоит в дверях. Она смотрит не на меня, а на тело.

— Какая операция?

— На животе. Шрам.

Она подходит. Наклоняется. Её лицо не меняется, но руки начинают дрожать. Она прячет их в платок.

— Это не операция, — говорит она. — Это баня.

— Что?

— Не сейчас. — Она выпрямляется. — Похороны завтра. После похорон поговорим.

— Баба Шура.

— Не сейчас.

— Это след. Мне надо вызвать полицию.

Она смотрит на меня. Долго. Потом говорит:

— Вызывай.

И выходит.

Я звоню в полицию. В деревне нет связи, я это уже поняла: на экране одна палка. Я поднимаюсь на веранду, нахожу место, где ловит. Набираю 112. Женский голос говорит: «Пожарная, полиция, скорая». Я говорю: «Полиция». Соединяют. Мужчина спрашивает: «Что у вас?» Я говорю: «Умерла мать. На теле шрам, которого не было. Я хочу зафиксировать». Он спрашивает: «Кто вы?» Я говорю: «Хирург». Он спрашивает: «Это ваш шрам?» Я говорю: «Нет, матери». Он говорит: «А вы уверены, что его не было?» Я говорю: «Уверена». Он говорит: «Ждите, участковый приедет в течение суток». Я говорю: «Похороны завтра». Он говорит: «Тогда после похорон».

Я кладу трубку. На экране — одна палка.

У матери на пятке прилип берёзовый листок. Маленький, сухой. Я снимаю его. Листок пахнет баней. Я кладу его в карман.

Вечером я звоню Максиму. Он в операционной, отвечает через минуту. В трубке шипит анестезиологический аппарат.

— Ты как? — спрашивает он.

— Нормально.

— Вера.

— Что?

— Ты сказала «нормально» так, как говорят «плохо».

— Максим, мать умерла в бане.

— Ты говорила. Соболезную.

— Она лежит на столе, и у неё шрам от грудины до лобка. Я такого не видела.

— Может, ты...

— Я хирург. Я уверена.

— Может, это была операция, а ты не знала.

— Мать мне бы сказала.

— Ты уверена?

Я молчу. Я не уверена. Вот в чём дело. Я не уверена ни в чём.

— Приезжай обратно, — говорит он. — Я возьму отпуск. Мы поедем куда-нибудь. На море. Ты полежишь.

— Я не могу. Похороны завтра.

— После похорон.

— После похорон.

— Вера. — Он понижает голос. — Там кто-то есть?

— В смысле?

— Я не знаю. Ты странно говоришь.

— Я в деревне. Здесь все странно говорят.

Он смеётся. Я тоже. Потом мы молчим, и в этой тишине я слышу, как в операционной кто-то роняет зажим. Максим говорит: «Извини», и я говорю: «Иди», и он говорит: «Позвони вечером», и я говорю: «Хорошо».

Я кладу трубку. Максим — хирург. Он умеет говорить «держись» так, что это звучит как «я рядом». Он не рядом. Он в Москве, на операции. У него всё просто: разрезать, убрать, зашить. У меня тоже так было. До сегодняшнего дня.

Вечером приходят люди. Их немного: баба Шура, Нина Петровна из медпункта, дед Кондрат с палкой, две женщины в платках. Они садятся на кухне, пьют чай, говорят о матери. Говорят хорошее: что она была тихая, что хорошо парила, что никому не отказывала.

— Она в бане умерла? — спрашивает одна из женщин.

Все замолкают. Баба Шура ставит чашку.

— Не надо, — говорит она.

— Я просто спросила.

— Вот и не спрашивай.

Потом говорят о погоде. Потом о том, кто понесёт гроб. Дед Кондрат говорит: «Я понесу». Баба Шура говорит: «Ты ж ходишь плохо». Дед Кондрат говорит: «Я не хожу, я несу». Я говорю: «Может, нанять?» Все смотрят на меня. Баба Шура говорит: «Тут не за деньги». Я говорю: «Я не в этом смысле». Никто не отвечает.

Потом уходят.

Нина Петровна задерживается на крыльце.

— Вера, — говорит она. — Ты если что — приходи. У меня УЗИ нет, но руки есть.

— Спасибо.

— И ещё. — Она смотрит на баню. — Не топить её пока не надо.

— Почему?

— Просто не надо.

Она уходит. Я стою на крыльце и смотрю на баню. Она чёрная, низкая, с маленьким окошком. В окошке темно.

Ночью я стелю себе на веранде, потому что в доме пахнет матерью. За окном темно. Сверчки. Где-то далеко — собака.

Я не могу уснуть. Я думаю о шраме. Прокручиваю его в голове, как снимок: стянутый, грубый, широкий. Его делали не в Сосновке и не в райцентре. Так режут в поле, в бане, в темноте.

Кто-то резал мою мать, и она мне не сказала.

Я встаю попить воды. И в этот момент слышу стук.

Он идёт со двора. Три удара. Пауза. Три удара. Глухо, деревянно, как будто стучат в дверь ладонью.

Я подхожу к окну. Баня стоит в двадцати метрах от дома. В её окне темно. Дверь закрыта. Но стук идёт оттуда.

Три. Пауза. Три.

Потом прекращается.

Я жду минуту. Ничего. Только сверчки.

Я надеваю куртку. На всякий случай беру из сумки скальпель — у меня в сумке всегда лежит одноразовый в упаковке, я не выбрасываю их после командировок. Он острый. Он мне не нужен. Но я его беру.

Ночной воздух тёплый, густой. Трава мокрая от росы. Я иду к бане. Дверь закрыта, но не заперта. Я трогаю засов. Он тёплый, как будто кто-то держал его в руке.

Я открываю дверь и заглядываю внутрь.

Пахнет сыростью и берёзовым дымом. Не топлено, но пахнет. В предбаннике темно. На полу — половики. На гвозде — веник. Веник новый, свежий. Листья ещё зелёные.

Я включаю фонарик на телефоне.

На полу — следы. Мокрые, маленькие, босые. Они ведут из парной к двери и обратно.

Я наклоняюсь. Вода холодная. Следы свежие.

На стене у двери — отпечаток ладони. Маленький, детский. Мокрый. Я прикладываю свою руку. Моя больше в два раза.

В парной никого нет. Каменка холодная. Чан пустой. Полок сухой.

Я стою в дверях и чувствую, как у меня на затылке шевелятся волосы. Не от страха. От чего-то другого. Как будто кто-то стоит за спиной и дышит мне в шею.

Я оборачиваюсь.

Никого.

Я выхожу и запираю дверь на щеколду. Руки дрожат. Я иду к дому. Не оборачиваюсь. Уже на крыльце всё-таки оборачиваюсь.

В окне бани горит свет.

Не яркий, не электрический. Красный, слабый, как уголёк. Я смотрю на него, и мне кажется, что в этом свете кто-то стоит и смотрит на меня.

Я захожу в дом и запираю дверь. Потом ещё раз проверяю замок.

Утром я скажу себе, что это была гроза. Что свет — от молнии, что следы — от кошки, что стук — от ветки. Я хирург. Я умею объяснять.

Но ночью, лёжа на веранде с открытыми глазами, я знаю другое. Я знаю, что в бане кто-то есть. И этот кто-то знает, что я приехала.

Глава 2
Дом

Мать хоронят на третий день.

Утро солнечное, к полудню собирается гроза. Пока идём на кладбище, начинает накрапывать. Дождь тёплый, крупный, пахнет пылью. Люди раскрывают зонты. Я иду без зонта. Мне кажется, что если я раскрою зонт, то спрячусь от чего-то, от чего прятаться нельзя.

Платье мне мало в груди. Я купила его вчера в Москве, в спешке, и не померила. Молния застёгивается до половины и дальше не идёт. Баба Шура смотрит на меня, вздыхает, достаёт из комода шкатулку с нитками и зашивает спинку чёрной ниткой прямо на мне. Игла холодная. Я стою смирно, как в перевязочной.

— Дыши, — говорит баба Шура. — Ты не дышишь.

— Я дышу.

— Ты дышишь как перед операцией. Верхом.

Она права. Я дышу верхом. Я всегда так дышу, когда боюсь. Я узнала это про себя в двадцать шесть, на первом самостоятельном аппендэктомии, и с тех пор не забыла.

Гроб несут четверо: сосед, дед Кондрат с палкой, ещё двое мужчин, которых я не знаю. Дед Кондрат не несёт, он идёт рядом и командует. Мужики слушаются. Я иду следом. На мне чёрное платье, зашитое по шву. Оно дорогое и красивое, и это неправильно. В деревне так не хоронят. Но у меня нет другого.

По дороге женщины говорят вполголоса. Я слышу обрывки:

— ...в бане...

— ...говорила, что нельзя...

— ...тихая была...

— ...а дочь? Дочь приехала?

— Приехала. Поздно.

Я не оборачиваюсь. Я иду и считаю шаги. Сто восемьдесят два шага до оврага. Я считаю, потому что если не считать, придётся думать.

Кладбище за оврагом. Здесь лежат все: прадед, прабабка, дед Илья, бабушка Аглая. Теперь — мать. Могилу выкопали заранее, рядом с Аглаей. Земля глинистая, тяжёлая. На дне — вода.

— Грунтовые воды, — говорит один из мужиков. — Весной вообще по колено.

— Ничего, — говорит второй. — Гроб дубовый. Встанет.

— А если не встанет?

— Тогда всплывёт.

Они смеются. Я смотрю на них и думаю: мою мать сейчас опустят в воду, а они шутят. Потом думаю: они выкопали эту яму вручную, за два дня, в глине, и им за это заплатили три тысячи. Они имеют право шутить.

Они опускают гроб на верёвках. Он входит в воду медленно, как в чёрное зеркало. Я смотрю на воду и думаю: мать всю жизнь боялась воды. В баню ходила, а в реку — никогда. Говорила: «Я в воде не вижу дна».

Теперь она лежит в воде.

Баба Шура берёт меня за руку. Её ладонь сухая и горячая.

— Не смотри, — говорит она.

— Почему?

— Просто не смотри.

Я смотрю на соседнюю могилу. Аглая Петровна Смирнова. 1930–2004. На камне — ничего, кроме имени и дат. Аглая умерла, когда мне было шестнадцать. Мать не позвонила

мне в Москву — я жила у тётки, готовилась к экзаменам. Сказала потом: «Ты бы всё равно не успела». Я не приехала на похороны. Я сдала экзамены. Я всегда сдаю.

Священника нет. В Сосновке нет церкви. Есть только часовня на кладбище, заколоченная. Баба Шура говорит, что мать не хотела попа. Я не спрашиваю почему.

Когда гроб опускают, я бросаю горсть земли. Земля стучит по крышке. Потом ещё горсть. Потом все уходят. Я остаюсь. Баба Шура остаётся со мной.

— Хорошая была женщина, — говорит она. — Тихая. Терпеливая.

— Да.

— Ты на неё не похожа.

— Знаю.

— Это не комплимент.

— Я поняла.

Она смотрит на меня. Её глаза выцветшие, но острые, как гвозди.

— Ты думаешь, что приехала и уедешь. Так не будет.

— Баба Шура...

— Мать оставила бумагу. У нотариуса. Завтра поедем.

— Какая бумага?

— Завещание. — Она поправляет платок. — Там условие. Пока не выполнишь — дом не продашь.

Я смотрю на неё. Дождь усиливается. Я вытираю воду с лица и не понимаю, дождь это или что-то другое.

— Какое условие?

— Три протопки, — говорит баба Шура. — Три ночи. Как положено.

— Что положено?

— Приедем — узнаешь.

— Баба Шура, почему мать не хотела попа?

Она молчит. Потом говорит:

— Потому что она знала, куда идёт.

— Куда?

— В баню.

Я думаю, что ослышалась.

— Что?

— Не топлено — не закопано, — говорит баба Шура. — Так у нас говорят. Пока баня не топлена, покойник не уходит.

— Это суеверие.

— Это правило, — говорит она. — Пойдём.

Поминки справляют дома.

Столы ставят в горнице и на веранде. Скатерти — белые, накрахмаленные. Женщины принесли еду в кастрюлях, закрытых полотенцами: кутью, блины, кисель, солёную рыбу, пироги с капустой. Кто-то поставил в угол икону. Свечи горят криво, потому что окна открыты и ветер ходит по комнате.

Меня сажают на почётное место, в красный угол. Я не знаю, что делать. Я не знаю, какие слова говорить. Я хирург. Я знаю, как сообщить родственникам, что человек умер. Я не знаю, как сидеть на поминках.

Женщины говорят тихо. О матери. О том, какая она была.

— Тихая.

— Работящая.

— Одна всё. Одна.

— А дочь в Москве. Хирург.

— Хирург, — повторяет одна, и в этом слове слышится что-то вроде осуждения. — А приехала — поздно.

— Дом-то теперь ей, — говорит другая. — Продаст.

— Кому тут покупать?

— Москвичам. Они всё скупают.

— А баня?

— Баню снесёт.

Они говорят обо мне в третьем лице, как будто я уже уехала. Я смотрю в тарелку и ем. Кутья сладкая, с изюмом. Я не могу есть. Потом всё-таки начинаю. Я голодная. Я не ела с утра. Я ем кутью, потом блин, потом пирог с капустой. Пирог сухой, но я его доедаю. Женщины смотрят на меня с одобрением. Я не понимаю, что это значит. Может быть, они думают: раз ест, значит, не так уж убита. Может быть, они правы.

Пожилая женщина, тётя Клава, сидит напротив. У неё сухие руки и строгие глаза.

— Ты бы баню истопила, — говорит она.

Я поднимаю голову.

— Что?

— Баню. Истопила бы. — Она говорит спокойно, как о погоде. — Не по-людски это. Мать в бане умерла, а баня не топлена.

— Какая разница? — говорю я. — Она уже умерла.

Женщины переглядываются. Кто-то вздыхает.

— У нас так говорят, — говорит тётя Клава. — Пока баня не топлена, покойник не уходит.

— Это суеверие.

— Может, и суеверие, — соглашается она. — А ты истопи. Тебе не тяжело, а матери легче.

— Матери уже всё равно.

— Ты так думаешь?

Она смотрит на меня, и я вдруг понимаю, что она не спорит. Она просто знает что-то, чего не знаю я. И это хуже, чем спор.

Я молчу. За окном светит солнце, и всё это кажется мне абсурдом: белые скатерти, кутья, свечи, разговоры о бане. Я хочу встать и уйти. Я хочу вернуться в Москву, в операционную, где всё понятно: разрез, зажим, шов.

Но я сижу. Я ем кутью. Она сладкая, и от неё тошнит.

В дверях стоит девочка лет шести. В платье, с бантом. Она смотрит не на стол, а в окно. Долго. Потом говорит:

— Мам. Там тётя стоит.

Её мать оборачивается.

— Какая тётя?

— Там. — Девочка показывает пальцем в окно. — У бани.

Женщины замолкают. Все смотрят в окно. За окном — двор, за двором — баня. Чёрная, низкая, с закрытой дверью. Никого нет.

— Никого там нет, — говорит мать. — Ешь.

— Есть тётя, — говорит девочка. — В белом.

Мать шёпотом велит ей молчать. Девочка надувает губы. Я смотрю на баню.

Дверь закрыта. Я точно помню, что она была закрыта. Но сейчас мне кажется, что она чуть приоткрыта. Щель тёмная, узкая, как разрез.

— Вера Сергеевна, — говорит тётя Клава. — Ты ешь. Тебе ещё девять дней здесь жить.

Я оборачиваюсь.

— Почему девять?

— Так положено, — говорит она. — До девятого дня.

— Я не собираюсь здесь жить девять дней.

— Соберёшься.

Она знает. Они все знают. Они сидят за столом, едят кутью и знают то, чего не знаю я.

Поминки заканчиваются к вечеру. Женщины моют посуду, складывают скатерти, уходят. Тётя Клава уходит последней. На пороге оборачивается.

— Ты не бойся, — говорит она. — Она тебя не тронет.

— Кто?

— Мать.

Она уходит. Я стою в дверях и смотрю на баню.

Дверь закрыта. Плотно, как я её оставила. Но в окне горит красный свет. Слабый, как уголёк.

Утром мы едем к нотариусу. Автобус в райцентр идёт в восемь. Баба Шура одевается в выходное: чёрный платок, чёрное пальто, хотя жарко. В автобусе она сидит прямо и молчит. Один раз говорит:

— Галина Васильевна — хорошая. Она бумагу составила как надо.

Нотариус — женщина в очках, с усталым лицом, зовут Галина Васильевна. Она читает завещание ровным голосом, как читают инструкцию к лекарству.

Дом и участок — мне. Баня — мне. Деньги на сберкнижке — мне. Всё, как ожидалось.

Потом пункт пять.

«Дом и баню не продавать и не дарить до тех пор, пока наследница не проведёт в бане три протопки: первую — для тела, вторую — для души, третью — для того, кто не родился. Протопки проводятся в течение девяти дней со дня смерти. В случае продажи дома без выполнения условия завещание считается недействительным, имущество переходит сельскому поселению».

Я поднимаю глаза.

— Это шутка?

Галина Васильевна смотрит на меня поверх очков.

— Это завещание, Вера Сергеевна. Оно заверено. Ваша мать настаивала на этом пункте.

— Но это... — Я ищу слово. — Это же бред. Какие протопки? Это дом, а не храм.

— Я не юрист по существу, — говорит она. — Я юрист по форме. Форма соблюдена. Если вы продадите дом до выполнения условия, сделка будет оспорена.

— Кем?

— Сельсоветом.

— Сельсовет не будет судиться из-за бани.

— Будет, если ему перейдёт дом.

Я смотрю на бумагу. Буквы ровные, машинописные. Внизу — подпись матери. Тамара Ильинична Смирнова. Почерк дрожащий, но настоящий.

— Она была больна? — спрашиваю я. — Психически?

Галина Васильевна закрывает папку.

— Ваша мать была в здравом уме. Я беседовала с ней лично. Трижды.

— Трижды?

— Она приезжала три раза. Первый раз написала «три раза». Потом исправила на «три протопки». Потом добавила: «для того, кто не родился». Я спросила, что это значит. Она сказала: «Вы не поймёте. Просто напишите».

— И вы написали?

— Я нотариус. Я заверяю волю, а не смысл. — Она снимает очки. — Вера Сергеевна, я живу здесь тридцать лет. Я не верю в бани. Но я верю в документы. Ваша мать заплатила за заверение. Она знала, что делает.

— Она ничего не просила передать? — спрашиваю я.

Галина Васильевна замялась.

— Просила. Сказала: «Если дочь откажется, передайте ей, что баня всё равно её найдёт».

— И вы передаёте?

— Я передаю. Это не угроза. Это условие. — Она снимает очки. — У вас есть дети?

— Нет.

— Понятно.

Она надевает очки и закрывает папку.

— Всего доброго, Вера Сергеевна.

На обратном автобусе я молчу. Баба Шура тоже молчит. За окном поля, лес, серое небо. Я держу копию завещания и думаю: у меня отпуск две недели. Я собиралась продать дом за месяц, вернуться в Москву, забыть.

Теперь у меня девять дней и три протопки.

— Баба Шура, — говорю я. — Что значит «для того, кто не родился»?

Она долго молчит. Потом говорит:

— Это не для тебя.

— Как это?

— Это для неё.

— Для кого?

Она поворачивает голову и смотрит в окно.

— Приедем — покажу.

Домой мы возвращаемся к вечеру. Я переодеваюсь, пью чай. Баба Шура уходит к себе. Я остаюсь одна. В доме тихо. Я хожу по комнатам и трогаю вещи: чашки, скатерти, фотографии.

Альбом лежит в серванте, между хрустальными рюмками и коробкой из-под чая. Я открываю его. Свадьба матери и отца — я не помню отца, он ушёл, когда мне было три. Мать с косой до пояса. Аглая в тёмном платке. Дом, который потом сгорел. Баня — на всех фотографиях одна и та же: чёрная, низкая, с маленьким окошком. Как будто фотографировали не людей, а баню.

На последней странице — мать молодая, с длинной косой, у бани. Рядом — Аглая, высокая, с прямыми плечами. На руках у Аглаи — свёрток. Ребёнок. Я.

Я смотрю на фотографию и вдруг замечаю: свёрток не один. Рядом, на лавке, лежит ещё один. Маленький, белый, как будто забытый.

Я подношу фотографию к лампе. Свёрток на лавке — это не свёрток. Это кукла. Тряпичная, без лица.

Я ставлю фотографию на место. Иду к двери. Надеваю сапоги.

Баня стоит в сумерках, чёрная, с закрытыми ставнями. Я открываю дверь и вхожу.

В предбаннике пахнет вениками и сыростью. Я включаю свет. Лампочка под потолком горит тускло, но достаточно. Всё обычное: лавка, вешалка, зеркало, ковш. Веник на гвозде — новый, зелёный. Кто-то повесил его недавно.

Я открываю дверь в парную.

Парная маленькая. Каменка, чан, полок в две ступени. На стене — три креста, процарапанные чем-то острым. Не христианские, без распятия. Просто три вертикальные черты с поперечинами. Детские. Кривые.

Я трогаю их. Дерево тёплое. Хотя баня не топлена.

На полке, между вениками, сидит кукла. Тряпичная, в ситцевом платье, без лица. Я беру её в руки. Она тяжёлая. Внутри — что-то твёрдое, как камень.

Я переворачиваю куклу. На спине, вышито синей ниткой, два имени:

«Вера. Люба».

Я стою в парной и слышу, как за спиной, в предбаннике, скрипит половица.

Я оборачиваюсь.

В дверях никого. Только свет лампочки качается, хотя ветра нет.

Я кладу куклу на место. Выхожу. Закрываю баню. Иду к дому.

И всю дорогу чувствую, что кто-то идёт за мной. Не сзади. Внутри. Как будто в моём теле есть ещё один шаг, который не мой.

Глава 3
Первая протопка

Утром я разбираю материны бумаги. Нотариус просила свидетельство о смерти, домовую книгу, ещё что-то. Я открываю кухонный ящик, где мать держала документы, и нахожу записку.

Клочок бумаги, сложенный вчетверо, между ложками и прихватками. Почерк матери, крупный, круглый. Бумага — отрывной календарь, на обороте видно число: «27 августа». За день до смерти.

«Вера. Если я не успела — топи трижды. Первая — для тела. Вторая — для души. Третья — для той, кто не родился. Дрова берёзовые, в сарае. Воду — из-под пола, не из крана. Первую — сразу, как найдёшь. Вторую — через два дня. Третью — на девятый, пятого сентября. Позже нельзя. Не пропускай. Не смотри. Мама».

Внизу, другим почерком, приписка: «Купить соль, спички, хлеб». И ещё ниже, совсем мелко: «Прости».

Я читаю три раза. Потом кладу записку на стол и смотрю на неё, как смотрят на анализ с плохим результатом.

«Воду — из-под пола». В бане есть люк в полу парной. Я видела его в детстве, но не помню, чтобы его открывали.

Я звоню своему юристу в Москву. Он берёт трубку на третьем гудке, за рулём, в пробке.

— Вера? Ты же на похоронах.

— Уже. Слушай, у меня завещание с условием. Дом нельзя продать, пока я не истоплю баню три раза.

Пауза. Потом он начинает смеяться.

— Ты серьёзно?

— Абсолютно.

— Это незаконно. Условие, которое ограничивает распоряжение имуществом, — ничтожно. Иди к нотариусу, скажи, что будешь оспаривать.

— Нотариус сказала, что сельсовет будет судиться.

— Пусть судится. Ты хирург, а не крепостная. У тебя есть деньги на юриста?

— Есть.

— Ну и всё. Продавай.

— А если я не хочу продавать?

Он замолкает. В трубке слышно, как сигналит машина.

— Вера, ты в порядке?

— Не знаю.

— Хочешь, я приеду?

— Нет.

— Тогда послушай меня. Это деревня. Там все немного того. Ты приехала, похоронила, поплакала, продала дом и уехала. Не начинай с ними воевать. И не топить никаких бань. Это не твоя жизнь.

— Это дом моей матери.

— Вот именно. Твоя жизнь в Москве.

Я кладу трубку. Он прав. Он абсолютно прав. Я смотрю на записку и думаю: я могу уехать сегодня. Могу вызвать такси до Костромы, оттуда поезд. Дом продам через суд. Баню снесу. На пепелище построю дачу. Никто мне не указ.

И всё-таки я иду в сарай.

Там дрова: берёзовые, сухие, ровно напиленные. Кто-то готовил их заранее. Рядом — коробок спичек в жестяной банке и береста на растопку. Мать знала, что умрёт.

В углу сарая стоит старая шайка, деревянная, с трещиной. В шайке — берёзовый веник, замоченный в воде. Листья свежие. Вода пахнет листом и чем-то ещё, сладким.

Я трогаю воду. Она тёплая. Хотя в сарае прохладно. Как будто кто-то замочил веник сегодня утром.

Я возвращаюсь в дом, сажусь на стул и сижу так, пока не темнеет. За окном собирается гроза. Молнии бьют далеко, за рекой. Я считаю секунды между вспышкой и громом, как в детстве. Один, два, три, четыре... Гроза идёт медленно.

Сегодня первое сентября. Мать умерла двадцать восьмого августа. Девятый день — пятое сентября. У меня четыре дня.

Я не верю в обряды. Я верю в анатомию, в антисептики, в статистику. Но я также знаю, что в теле есть вещи, которые статистика не объясняет. Я видела, как умирают люди, которые не должны были умирать. Я видела, как выживают те, кто не должен был выжить.

И я видела шрам на животе матери.

Днём я звоню Максиму.

— Ты как? — спрашивает он.

— Нормально. — Я стою у окна, смотрю на баню. — Максим, у тебя был пациент с... — Я останавливаюсь. — С тератомой? Дермоидной кистой?

— Конечно. А что?

— Что в ней бывает?

— Волосы, зубы, кости. Жир. Иногда — зачатки конечностей. Это эмбриональные остатки. Ничего мистического.

— А если в ней был... близнец?

Он молчит.

— Вера, ты о чём?

— Просто интересно.

— Ты на похоронах. Тебе не должно быть интересно такое.

— Я хирург. Мне всегда интересно такое.

Он вздыхает.

— Тератома — это не близнец. Это опухоль. Но иногда в литературе описывают fetus in fetu — «плод в плоде». Это когда один близнец поглощает другого. Крайне редко. Обычно диагностируют у детей.

— А если у взрослого?

— У взрослого это будет большая тератома. Её удаляют. Всё.

— Спасибо.

— Вера. Ты точно в порядке?

— Не знаю. — Я смотрю на баню. — Перезвоню.

Я кладу трубку. В бане кто-то ходит. Я вижу, как в окошке движется тень. Маленькая, детская.

Я иду туда.

В бане никого. Но пол в предбаннике мокрый. И на полу — следы. Босые, детские. Они ведут в парную и обратно.

Я стою и смотрю на них. Потом беру тряпку и вытираю. Вода холодная, как из колодца.

Вечером я топлю баню.

Первую протопку я делаю по записке: берёзовые дрова, вода из люка, три раза проверить тягу. Люк в полу парной открывается тяжело, с ржавым скрипом. Внизу — темнота и вода. Я опускаю ведро на верёвке. Вода поднимается ледяная, с запахом железа. Я набираю два ведра и выливаю в чан.

Разжигаю каменку. Береста занимается сразу, дрова идут неохотно, потом разгораются. Баня начинает потрескивать, как живая. Пар поднимается к потолку. Пахнет берёзой и железом.

Я проверяю тягу. Спичка гаснет и тянется вверх, к трубе. Хорошо. Я закрываю дверцу. Огонь гудит. Стены потрескивают. На потолке выступают капли смолы, тяжёлые, янтарные.

Я открываю дверь и проверяю, нет ли угара. Угара нет. Пахнет только берёзой. Я говорю вслух:

— Ну и что?

Баня не отвечает.

— Я тебя не боюсь.

Баня не отвечает.

— Я тебя сожгу, если что.

Баня потрескивает. Я понимаю, что разговариваю с сараем. Это не помогает.

Я стою перед каменкой и смотрю на огонь. Огонь смотрит обратно. Так всегда кажется, когда долго смотришь. Я хирург. Я знаю, что огонь не смотрит. Но я всё равно отворачиваюсь.

Я раздеваюсь. Вешаю одежду на гвоздь. Захожу в парную.

Жарко. Очень жарко. Пар густой, как молоко. Я сажусь на нижнюю ступень полка. Кожа начинает гореть. Я закрываю глаза.

И чувствую, что я не одна.

Не вижу, не слышу. Просто знаю. Кто-то сидит рядом. Не дышит. Не двигается. Но он есть.

Я открываю глаза. Парная пустая. Только пар. Только каменка. Только чан.

На стене — две тени. Моя и ещё одна, меньше. Я оборачиваюсь. Позади — пар.

— Кто здесь? — говорю я.

Голос звучит глухо, как в вате. Никто не отвечает.

Пар надо мной расходится, как будто кто-то прошёл мимо. Полок подо мной скрипит. Не от моего веса. Сбоку.

Я встаю. Беру веник и хлещу себя по плечам. Боль отрезвляет. Я моюсь быстро, как будто за мной гонятся. Выливаю воду на голову, вытираюсь.

Когда выхожу в предбанник, на полу снова следы. Мокрые, маленькие. Они идут от двери к полку и обратно. Свежие.

Я смотрю на них и чувствую, как внутри меня что-то сжимается. Не страх. Что-то более древнее. Как будто моё тело знает то, чего не знает голова.

Я подхожу к зеркалу. Из зеркала на меня смотрит женщина тридцати восьми лет, с мокрыми волосами, с красными от пара плечами. Под глазами тени. На животе — два шрама: один, детский, от «грыжи», и второй, ниже, от операции. Я трогаю второй. Он гладкий, аккуратный. Его делали в хорошей клинике, хорошим шовным материалом. Мне было двадцать два. Мне сказали: «Тератома. Доброкачественная. Волосы, зубы, кости. Ничего страшного». Я тогда училась на третьем курсе и думала: как это — ничего страшного, если во мне были зубы?

Я одеваюсь. Беру сумку. И вдруг замечаю на полке куклу. Она сидит не там, где я её оставила. Я положила её между вениками. Теперь она сидит на краю полка, лицом к двери.

Кукла без лица смотрит на меня.

Я беру её и бросаю в чан с водой. Она не тонет. Лежит на воде лицом вверх, покачивается. Я держу её под водой, пока не начинают болеть пальцы. Отпускаю. Она всплывает.

Я выхожу и запираю баню. Иду к дому. На крыльце стоит баба Шура.

— Протопила? — спрашивает она.

— Протопила.

— Хорошо. — Она смотрит на мои руки. — Первая — для тела. Тело помыла?

— Помыла.

— А душу?

— Что?

— Ничего. — Она отворачивается. — Послезавтра вторая. Не пропусти.

Она уходит. Я стою на крыльце, мокрая, в куртке, и смотрю ей вслед.

Ночью мне снится баня. В бане темно. Я сижу на полке, и рядом кто-то дышит. Я не вижу его, но знаю: это девочка. Маленькая. Она держит меня за руку. Её ладонь холодная, как вода из-под пола.

— Вера, — говорит она. — Ты меня помнишь?

Я просыпаюсь от того, что у меня болит живот. Боль тупая, тянущая, как при месячных. Я иду в туалет. На белье — кровь. Немного.

Я смотрю на кровь и думаю: рано. На десять дней рано. Я здорова. Я проверялась в июне: чистое УЗИ, нормальные гормоны, регулярный цикл. Я не должна кровить. И всё-таки кровлю.

Я считаю в голове, как в приёмном покое. Травма — исключено. Беременность — теоретически возможна, но тест в июне был отрицательный. Внематочная — возможна, но боль не та. Полип — возможен. Гормональный сбой — возможен. Опухоль — возможна. Все варианты возможны. Ни один не объясняет, почему кровь идёт именно сегодня, через два дня после похорон, в доме, где я не хочу оставаться.

Я решаю: завтра в райцентр, к гинекологу. Я не поеду. Но я решаю.

Я подмываюсь, ставлю прокладку и возвращаюсь в постель. Боль не проходит. Она тянет низ живота, как будто там что-то растёт. Я кладу руку на живот. Живот тёплый. Под кожей — тишина. Я хирург. Я знаю, как звучит тело. Оно молчит.

Я возвращаюсь в постель. За окном светает. В бане кто-то поёт. Тихо, тонко, детским голосом.

«Баю-баю-баю, Баню вытопляю. Первый пар — на тело, Второй пар — на душу, Третий пар — на ту, Кто не родился. Баю-баю-баю, Я тебя не знаю».

Я закрываю глаза и накрываю голову подушкой. Но я всё равно слышу.

Я знаю этот голос. Мать пела эту песню, когда мыла меня в бане. Мне было шесть. Я сидела в шайке, а она лила воду мне на голову и пела. Я спросила: «Кто такая Люба?» Мать ударила меня по губам мокрой рукой. Не сильно. Так, чтобы замолчала. Потом обняла и сказала: «Никто». Я больше не спрашивала.

Теперь я лежу в темноте и слышу, как эта песня возвращается. Только поёт её не мать. Поёт ребёнок. И голос у него мой. Только выше.

Глава 4
Следы

На чердак я залезаю утром, пока не жарко.

Лестница шатается. Я ставлю ногу на третью ступеньку, и она хрустит. Баба Шура кричит из кухни: «Не сломай!» Я говорю: «Я хирург, я знаю, где у человека хрупкое». Она говорит: «Ты не человек, ты лестница».

Чердак низкий, пыльный, с балками, обмотанными паутиной. Пахнет старым деревом и мышами. Свет падает через слуховое окно, в нём плавают пылинки. Под стрехой — осиное гнездо, серое, как бумажный фонарь. Осы спят.

Я включаю фонарик и иду между коробками, сундуками и связками газет. Мать ничего не выбрасывала. Здесь её жизнь, сложенная в стопки: «Правда» за восемьдесят шестой, банки из-под варенья, зимние сапоги, детские санки.

В углу — коробка с моими школьными тетрадями. Я открываю первую. «Как я провела лето». Третье сентября, мой почерк, наклон вправо. «Летом я была в Москве. Мы ходили в зоопарк. У жирафа шея как труба». Ни слова о деревне. Ни слова о матери. Я переворачиваю страницу. «Моя мама работает в бане. Она моет людей». Учительница красными чернилами: «Хорошо. Исправь: людей моют в бане, а мама работает банщицей». Мать хранила эту тетрадь двадцать девять лет.

В дальнем углу стоит сундук. Кованый, тяжёлый, с замком. Ключ торчит в замке. Я открываю.

Внутри — тряпки. Материя, аккуратно сложенная, переложенная лавандой. Я вынимаю одну. Это рубашка. Детская, ситцевая, с длинным рукавом. Маленькая. На груди — вышивка. Два имени, синей ниткой, крестиком:

«Вера. Люба».

Я держу рубашку в руках и чувствую, как пальцы немеют. Не от холода. От узнавания. Я не помню эту рубашку. Но мои руки помнят.

Под рубашкой — тетрадь. Общая тетрадь в клеёнчатой обложке, с потрёпанными углами. На обложке чернилами: «Протопки. 1954–2026».

Я сажусь на сундук и открываю.

Первый лист — таблица. Столбцы: дата, погода, имя, приметы. Записи сделаны разными почерками. Первые — каллиграфические, с завитками: Аглая. Потом — круглые, торопливые: Тамара. Потом — снова Аглая. Потом — Тамара, до самого конца.

«6 января 1954. –41°. Кузьмина Настя. Не осталась. Мать — Аглая. Отец — Иван. Родилась мёртвой. Выпарила. Похоронила под баней. Третью протопку не делала: некому было».

Я читаю и не понимаю. Потом понимаю. Бабушка Аглая принимала роды. И не только принимала.

Я листаю дальше.

«12 июля 1961. Гроза. Смирнова Аглая. Мальчик. Не остался. Муж не знает. Выпарила. Под баней, у восточной стены».

«3 августа 1968. Жара. Голубева Нюра. Девочка. Не осталась. Муж — пьяный, бил. Выпарила. Под баней, у восточной стены».

«28 августа 1975. Гроза. Смирнова Аглая. Девочка. Родилась мёртвой. Выпарила. Под баню, к сёстрам. Третья протопка — в ночь».

Я читаю эти записи, и у меня холодеют руки. Бабушка не была знахаркой. Она была повитухой. Она принимала роды в деревне, где до больницы сорок километров по бездорожью. Когда ребёнок рождался мёртвым, она его «выпаривала» — так, как умела. Может быть, это

был способ похоронить. Может быть, способ не отпустить. Я не знаю. Я знаю только, что под баней лежат дети.

«28 августа 1988. Гроза. Смирнова Тамара. Двойня. Вера — 4,1 кг. Люба — 1,9 кг. Люба жила сорок минут. Порок сердца, череп не закрыт, ноги срослись. Аглая сказала: "Одна останется, другая уйдёт. Выбирай". Тамара выбрала Веру. Любу выпарили. Похоронили под баней. Третья протопка — в ночь».

Я останавливаюсь. Читаю ещё раз. Буквы не меняются.

«Порок сердца, череп не закрыт, ноги срослись». Я вижу это, как на вскрытии. Ребёнок, который не мог жить. Ребёнок, который всё равно жил сорок минут. Я знаю, что такое сорок минут. Это наркоз. Это два разреза. Это время, за которое можно спасти человека или потерять.

Люба прожила сорок минут и умерла. А потом её выпарили — уже мёртвую или ещё живую?

Я смотрю на рубашку. Два имени. Одно — моё. Второе — её.

Я вспоминаю свою тератому. Волосы, зубы, кости. Мне было двадцать два. Я тогда спросила врача: «Это мог быть близнец?» Он засмеялся. Сказал: «Это опухоль. Просто опухоль». Теперь я думаю: он зря смеялся.

Я листаю тетрадь дальше. Записи становятся короче.

«1993. Протопила в срок. Вера приезжала на каникулы. Спросила, почему в бане пахнет молоком. Сказала: трава».

«1998. Протопила. Сорок минут. Она приходит на сорок минут. Как тогда».

«2004. Аглая умерла. Топила одна. Не смотрела».

«2019. Вера не приехала. Топила одна. Она стучала. Я не открыла».

«2026, 27 августа. Пора. Вера приедет. Не смотри».

Последняя запись сделана дрожащей рукой. Буквы прыгают. Я закрываю тетрадь. Сижу на сундуке. Внизу, в доме, тикают часы. Я считаю удары. Двенадцать. Потом ещё двенадцать. Потом ещё.

Я не плачу. Я не умею плакать в нужный момент. Я умею плакать потом, когда всё уже кончилось, и это бесполезно.

Я спускаюсь с чердака. Баба Шура сидит на кухне и лущит горох. Перед ней таз, в тазу стручки, на столе — миска с зелёными горошинами. Она лущит быстро, не глядя.

Я кладу тетрадь на стол.

— Ты знала?

Она не поднимает головы.

— Знала.

— И молчала?

— А что я должна была сказать? «Вера, у тебя была сестра, мы её выпарили»? Ты бы мне не поверила.

— Я бы поверила.

— Ты бы вызвала полицию.

— Я и сейчас вызову.

— Ну вызови. — Она отрывает стручок. — Только сначала баню истопи.

— Почему все говорят про баню?

— Потому что баня — это дверь.

— Какая дверь?

— Такая. — Она бросает стручок в таз. — Ты — замок.

— Я хирург.

— Тем более.

Она поднимает голову. Её глаза выцветшие, но острые, как гвозди.

— Что значит «для той, кто не родился»? — спрашиваю я.

Она молчит. Потом говорит:

— Это не для тебя.

— А для кого?

— Для неё.

— Для Любы?

Она останавливается. Горошина выскальзывает у неё из пальцев и катится по столу. Баба Шура ловит её, кладёт в миску.

— Иди, — говорит она. — Мне ещё горох лущить.

Вчера приезжал механик — Костя из райцентра, молодой, в майке-сетке. Он ковырялся в двигателе два часа, потом вытер руки и сказал:

— Хозяйка, машина в порядке. Аккумулятор новый, стартер крутит, бензин есть. Я не знаю, почему она не заводится.

— Может, сигнализация?

— Нет сигнализации.

— Иммобилайзер?

— Нет иммобилайзера.

Он посмотрел на меня, потом на баню. Перекрестился.

— Вы верующий? — спросила я.

— Нет. — Он вытер руки о штаны. — Но на всякий случай.

— Сколько я вам должна?

— Нисколько. — Он пошёл к калитке. — Я такое видел в Заречье. Мужик хотел уехать, а машина — ни в какую. Потом оказалось — мать не пускала.

— Мать у меня умерла.

— Вот я и говорю, — сказал Костя и ушёл.

Я беру телефон. Звоню Максиму.

— Вера? Что случилось?

— Максим, — говорю я. — У меня была сестра.

Пауза.

— Что?

— Сестра-близнец. Она умерла при рождении. В восемьдесят восьмом. Моя мать... — Я останавливаюсь. — Её выпарили в бане.

— Вера, ты... — Он ищет слова. — Ты уверена?

— Я нашла тетрадь. Записи. Бабушка вела.

— Это может быть... — Он снова замолкает. — Это может быть бред. У твоей матери могло быть психическое заболевание. Ты же видела шрам.

— При чём здесь шрам?

— Я не знаю. — Он вздыхает. — Вера, уезжай оттуда. Возвращайся в Москву. Мы пойдём к врачу. К хорошему. Разберёмся.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.